



А. А. ИЗМАЙЛОВ

Вера или неверие

(Религия Чехова)

I

О любимом ушедшем человеке вспоминают все, всякую мелочь, но два огромных вопроса долго остаются в тени. Это вопросы — *кого любил, как веровал?*

По самому существу своему при жизни они неудобны, нескромны, почти непозволительны, касаются самого интимного, самого священного, и, в силу какой-то тайны, — половое, как и религиозное, в человеке всегда как-то целомудренно стыдится, прячется, скрывается.

Пора для постановки первого вопроса в отношении Чехова еще не пришла. Он, можно сказать, ушел только вчера. Еще мог бы он быть среди нас, и всего только 50-летним. Но уже вторым вопросом — «как веровал» — не совершим нескромности, никого не заденем, не смутим.

Вправе ли подходить с этой стороны к писателю историк литературы и общественности? Но кто же будет отрицать, что идеалы писателя, его вера, мистическая или позитивная, есть тот внутренний свет, который озаряет все в его книгах, и без которого будет в них все загадочно и неясно. Половина огромной литературы, посвященной Толстому, половина огромной литературы о Достоевском — работают над этой стороной духа этих писателей. Если изыскания такого рода нескромность, изнесение к толпе святынь из святого святых, куда, как первосвященник, властен входить только сам человек, то нескромность весь Мережковский, нескромны все биографы, вводящие в свои книги главу о писательском религиозном мировоззрении, и надо зачеркнуть в богословской литературе сотни

изысканий, вскрывающих святая святых разных Августинов и Оригенов.

Конечно, это не область математически точных изысканий. Может быть так, может быть иначе. Весь материал для суждения только уже книги писателя, его письма, воспоминания о нем. Но Чехов слишком часто подходил к этой теме религии, Бога, бессмертия. Несравненно, во всяком случае, чаще, чем к темам политики. Не невозможно на основании того, что он оставил, попытаться решить, как он смотрел на религию и как-то Богу молился.

Здесь трудность в том, что вера, повторяю, прячется, как любовь. Раскрывают душу перед матерью, любимой женщиной, родным братом. Кого из чужих может интересовать, как я верую? Северной душе свойственна здесь какая-то исключительная стыдливость, порой граничащая с малодушием.

Вспомните известный рассказ о том, как один из друзей Лермонтова застал его в церкви. Лермонтов, салонный лев, отрицатель, российский Мефистофель, человек, у которого нет *ni foi, ni loi*¹, этот Лермонтов — в церкви! Вспомните, как он смущенно и малодушно начал рассказывать этому другу какую-то с места выдуманную басню о поручении бабушки, из которой было ясно только одно, что и на этого российского демона находила иногда властная потребность молитвы².

И ведь именно у этого же вольнодумца и отрицателя в записной книжке, подаренной ему Одоевским, после смерти оказались выписки... из посланий апостольских³, и этого именно вольнодумца вдохновила на почти молитвенную лирику палестинская ветка за образом Муравьева, в комнате которого ему случайно пришлось провести полчаса в ожидании хозяина⁴.

Почти исключительно в рассматриваемом отношении положение писателя. Эта стыдливость чувства почти исчезает в нем, когда он «писательствует». Лесков был противником синодской церкви, но глубоко верующим человеком, и в этом нельзя ошибиться, перечитывая его книги. Так о Христе и Христовом мог говорить только тот, кто Ему уверовал и Его возлюбил. Но того же Лескова трудно представить говорящим о своей вере, интимно признающимся, при ком-нибудь молящемся. И вот про этого же Лескова от одного из близких ему людей я слышал такой рассказ.

Близкий человек пришел к нему на Фурштаттскую под вечер зимнего дня, в один из последних годов его жизни. Как свой человек прошел в комнаты. В кабинете было темно, — Лесков «сумерничал».

Гость вошел в кабинет и увидел старика распростертым на ковре, на полу, в направлении образа. Это было так неожиданно для гостя, что на минуту он стал растерянный. Старик, очевидно, был настолько весь в своем деле, что не расслышал шагов, не почувствовал постороннего. Только когда вошедший кашлянул, Лесков впотьмах задвигал по ковру руками, показывая вид, что чего-то ищет.

— Вы что-то ищете? — спросил гость, наклоняясь. — Позвольте я вам помогу. У меня глаза помоложе.

— Да, ищу запонку, — согласился Лесков, — а впрочем, не беспокойтесь, я ее уже нашел.

«Но он не искал запонку, и ничего не находил, а молился», — пояснил мне рассказывавший. Только даже и близкому человеку он не захотел этого показать⁵.

Так в этом вопросе исследователь стоит в положении ищущего истину там, где от него эту истину хотят намеренно скрыть.

II

Самый век, изверившийся, холодный и равнодушный, посмеивавшийся над религиозным исканием Толстого, самое происхождение Чехова из крестьянской, сурово-религиозной, безрадостно религиозной семьи, его образование медика, с верою, что в природе существует только материя, а в человеке органическая клетка, что мысль есть продукт мозга — и только мозга, самая среда, в какой ему пришлось вращаться поначалу, обивая редакционные пороги, — все это мало располагало к тому, чтобы из Чехова вышел не только горячий искатель веры, но и просто человек повышенного религиозного чувствования.

Но от природы глубокая натура, Чехов не мог заглушить в себе ни умственного интереса к религии и хотя бы к чужой религиозности, ни тех подсказок сердца, которые непреодолимы для человека, вышедшего из верующей семьи.

Чехова никоим образом нельзя назвать безучастным ко всем этим вопросам. Вы можете перечитать десятки томов Гончарова, Тургенева, Писемского и не наткнуться ни на одну страницу разговора о Боге, вере, бессмертии. Чехов в этом смысле бесконечно ближе к Толстому и Достоевскому.

Интересный переплет внешних подробностей жизни, человеческие приключения, бытовой анекдот, все то, что уже само

по себе насыщало Тургенева или Гончарова, — для Чехова было мало занимательно без духовного озарения. «На этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума», — сказал он устами доктора в «Палате № 6». И среди этих проявлений религиозному исканию он уделял видное место.

В одном из своих довольно ранних рассказов «На пути», с своим удивительным мастерством коротко и ясно ухватывать явления, Чехов высказался о том, что такое вера для русского человека.

— Я так понимаю, что вера есть способность духа. *Она все равно, что талант: с нею надо родиться.* Насколько я могу судить по себе, по тем людям, которых видал на своем веку, по всему тому, что творилось вокруг, *эта способность присуща русским людям в высочайшей степени.* Русская жизнь представляет непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия или отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое.

Лихарев, говорящий эти слова, на собственном примере подтверждает дальше свою теорию.

— Полжизни я состоял в штате атеистов и нигилистов, *но не было в моей жизни ни одного часа, когда бы я не веровал.*

В детстве он верит в суп, которым его пичкает мать, в домашних и леших, о которых рассказывает нянька. Он убегает в Америку, уходит в разбойники, просится в монастырь, нанимает мальчишек, «чтобы они меня мучили за Христа». В гимназические дни он отрицает Иисуса Навина, остановившего солнце, и Илию, гремящего громом. В университетский период он верует в науку, преклоняется перед зоологией, открывшей 35 000 видов насекомых, и разочаровывается в ней только тогда, когда находит 35 тысяч первый вид. Дальше нигилизм и прокламации, славянофильство и отрицание собственности, непротивление злу и т. д.

Тип сгущенный, парадоксальный. Но в основе парадокса лежит истинное убеждение Чехова в повышенности русского сердечного искания, и черта этого типично русского метания схвачена здесь художественно верно. Этот трагикомический герой, меняющий веру, как перчатки, не лишен даже известной красоты в своем метании.

— Ведь я веровал не как немецкий доктор философии, — говорит он, — не в пустыне я жил, а каждая моя вера гнула меня в дугу, рвала на части мое тело. Я любил русский народ *до стра-*

дания, любил и веровал в его Бога, в язык, в творчество. Да, природа вложила в русского человека *необыкновенную способность веровать*, испытующий ум и дар мыслительства, но все это разбивается в прах и беспечность, лень, о мечтательное легкомыслие...

Самому Чехову была бы в высокой степени присуща какая-то бодрящая вера в наступление золотого века на земле, хотя, может быть, и где-то далеко, — через триста-четырееста лет. Без разговоров об этой вере, об этой мечте «о небе в алмазах», трудно найти хотя бы одну критическую статью о нем. Повторять это стало банальностью.

III

Прямые засвидетельствования Чехова о своем отношении к религии сохранились в его письмах к Щеглову, Плещееву, Меньшикову и Дягилеву. Вот эти места:

— Я, — пишет Чехов Дягилеву за год до смерти, — *давно растерял мою веру* и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего⁶.

— Я боюсь смерти Толстого, — пишет он Меньшикову за четыре года до смерти. — Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Ни одного человека я не любил так, как его. *Я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру*⁷.

В одной своей статье о Чехове Меньшиков привел следующие слова Чехова из одного разговора:

— Я не знаю, что такое вечность, бесконечность. Я себе об этом ничего не представляю, ровно ничего. Жизнь за гробом для меня что-то застывшее, холодное, немое. Ничего не знаю⁸.

В письме к Дягилеву от 1902 г. Чехов выказал свое отношение к начинавшемуся тогда религиозному движению в интеллигенции и дал попытку краткой философской мотивировки своей веры.

— «Интеллигенция (в России) пока только играет в религию и, главным образом, от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь, — скажу только, что религиозное движение само по себе, а вся совре-

менная культура — сама по себе и ставить вторую в причинную зависимость от первой никак нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, — работы, которая будет продолжаться, быть может, десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем *человечество познало истину настоящего Бога*, т. е. не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает»⁹.

— Фирму и ярлык я считаю предрассудком, — мимоходом уронил он в письме к поэту Плещееву. — *Мое святая святых — это человеческое тело*, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, — свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались¹⁰.

Очень определенное заявление, опять с некоторою уже исторической мотивировкой его настроения, находим в письме Чехова к Щеглову.

— Таких людей, как Рачинский, очень мало на белом свете... Но, не сердитесь, я не отдал бы в его школу своих детей. Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание, — с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным. *Религии у меня теперь нет*. Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же это время чувствовали себя маленькими каторжниками. Да, милый. Рачинского я понимаю, но детей, которые учатся у него, я не знаю. Их души для меня потемки. Если в их душах радость, то они счастливее меня и братьев, у которых детство было страданием¹¹.

Научную точку зрения, какую Чехов применял к религии, он распространял и шире. Умно, научно-холодным взглядом хотел он смотреть и на всю жизнь вообще.

В одном из довольно ранних писем (к Суворину, 1894 г.) он признавался: «Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда меня перестали драть, была страшная... Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, а толсто-

вская манера выражаться, — рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует. Расчетливость и справедливость говорят мне, *что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса...* Естественные науки сделают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своею маскою, грандиозностью»...¹²

IV

По натуре Чехов считал себя реалистом и в основе не ошибался. В сочинениях его занимает только реальное, подлинное, житейское. Тургенев считал себя европейцем из европейцев, отделавшимся от всяких предрассудков, и посмотрите, как его рассказы выдают головой не заглушенную в нем никаким европеизмом мистику! Вспомните только его «Призраки», «Клару Милич», «Рассказ отца Алексея», «Стук, стук», «Сон», «Песнь торжествующей любви». Взгляду Чехова, по-видимому, ничто не предносилось в жизни в мистическом озарении. Раз или два в жизни он делает отступление в сторону рассказа фантастического. Действуя в полный разгар рождественской литературы, он не оставил ни одной вещицы на таинственную тему. Единственный раз в жизни он подошел к теме безотчетного страха. В рассказе «Страхи», который, по-видимому, ничто не мешает принять, как чисто автобиографический, Чехов рассказывает три случая большого перепуга в своей жизни.

Посмотрите, как просто, естественно, по-докторски объясняет он то, что сначала показалось ему мистически-жутким. Раз ночью, в лесу к нему пристала большая черная собака. Под жутким чувством Чехов прошел свою дорогу, поминая фаустовского пса, думая о галлюцинациях, каким подвержены нервные люди. Но дома он застал гостя, который стал ему жаловаться на пропажу своей дорогой собаки.

Другой раз, в час ночи, в полном одиночестве он видел, как сам собою, никем не толкаемый, грузно прокатился вагон по рельсам железной дороги. Встречный мужик объяснил ему явление — «на 121 версте уклон... Цепи в заднем вагоне не держали...». Так просто и нестрашно все в жизни, говорит Чехов даже этим единственным своим «страшным» рассказом. Не объясняет он только первого случая своего страха, когда он видел ночью на колокольне огонек, которому никоим образом там было не место.

Чехов был искренним человеком. Ни за одну его вещь, и ни за одно письмо его нельзя упрекнуть в малодушии, в недостатке гражданского мужества, в скрывании своего настоящего взгляда. Он не боялся либералов и открыто выражал в своих письмах достойное большого человека презрение к партийной узости и либеральному мещанству. Он не мог рисоваться перед теми, кому делал в письмах выписанные признания и не играл перед ними на либерализм. Плещеев, Щеглов и Суворин были его друзьями. Мнения о нем Меньшикова, Дягилева не могли принести ему ни выигрыша, ни проигрыша. Все это надо принять как есть. Чехов считал себя человеком без мистической религии и без мистических настроений.

Чем иным, как не отзвуком личных его взглядов звучат, например, такие места («Три года»):

«Говорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное — мыслить как-нибудь особенно, — не по-земному.

— А не хочется умирать, — тихо сказал Ярцев. — Никакая философия не может примирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто как на погибель. Жить хочется.

— Вы любите жизнь, Гаврилыч?

— Да, люблю... Я химик. Мыслю химически и умру химиком. Но я жаден, я боюсь, что умру, не насытившись, и мне мало одной химии... Мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать. Жизнь, голубчик, коротка, и надо прожить ее получше».

На помощь убеждению, что единственная религия образованного человека — наука и культура, приходила Чехову и современная теория прогресса. В его «Дуэли» действует зоолог фон Корен, ученый, поглощенный изучением эмбриологии медуз.

— Он работает, — говорит про него Лаевский, — он пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей. Он хлопочет об улучшении человеческой породы, и мы для него только рабы, мясо для пушек, вьючные животные.

В той же «Дуэли» перед вами обстоятельно обоснованная теория религии прогресса и речь о неприложимости так называемой «христианской почвы» при решении вопросов о человеческом счастье.

«— Гуманитарные науки, о которых вы говорите, — доказывает зоолог дьякону, — тогда только будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом или в монологах нового Гамлета, или в новой религии, я не знаю, но думаю, что земля покроется ледяной корой раньше, чем это случится. Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний это, конечно, учение Христа, но, посмотрите, как даже оно различно понимается. Одни учат, чтобы мы любили всех ближних, и делают при этом исключение для солдат, преступников и безумных. Первых они разрешают убивать на войне, вторых изолировать или казнить, а третьим запрещают вступление в брак. Другие толкователи учат любить всех ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. Если к вам приходит бугорчатный или убийца, или эпилептик и сватает вашу дочь, — отдавайте. Если кретины идут войной на физически здоровых, — подставляйте головы. Эта проповедь любви ради любви, как искусства для искусства, если бы могла иметь силу, в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию, и таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на земле. Поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую или так называемую христианскую почву. Этим вы только отдаляетесь от решения вопроса.

Дьякон подумал и спросил:

— Нравственный закон, который свойственен каждому из людей, философы выдумали или же его Бог создал вместе с телом?

— Не знаю, но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что мне кажется его следует признать органически связанным с человеком.

— Хорошо-с. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних. Так? Но естественная природа наша по себялюбию противится голосу совести и разума, и потому возникает много головоломных вопросов. К кому же мы должны обращаться за решением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву?

— Обратитесь к тем немногим *точным знаниям*, какие есть у нас. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем.

— Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого.

— Несомненно.

— Но ведь сильные распяли Господа нашего Иисуса Христа, — сказал горячо дьякон.

— В том-то и дело, что распяли Его не сильные, а слабые. Человеческая культура ослабила и стремится свести к нулю борьбу за существование и подбор. Отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными. Мы, культурные, распяли Христа и продолжаем Его распинать. Не лицемерьте же, не показывайте кукиша в кармане и не говорите: ах глупо, ах устарело, ах не согласно с писанием, а смотрите жизни прямо в лицо, признавайте ее разумную законность и когда она, напротив, хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную.

— Экой вы какой! — засмеялся дьякон. — В Христа же вы не веруете! Зачем же вы Его так часто поминаете?

— Нет, верую, только, конечно, не по-вашему, а по-своему.

— Вы говорите у вас вера! — сказал дьякон. — Какая это вера? А вот у меня есть дядька поп, так тот так верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собою дождевой зонтик и кожаное пальто, чтоб его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет, и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу остановил и всякую бы вашу силу обратил в бегство. Да, вера горами двигает».

Бегло озираясь на всю русскую беллетристику, я не могу вспомнить другого места, где бы с такою сжатостью, но и вместе с такою мастерскою мотивировкой нам была дана схема «религии мирового прогресса», «религии науки», с своеобразным пониманием Христа, под которой обеими руками подписался бы писаревский «мыслящий реалист»¹³.

V

Для антимистических душ такая вера в самом деле могла быть до известной степени заменю религии. Кругом Чехов редко видел и это, и, вглядываясь в современность, несколько не переоценивал положения дел. Интеллигентский индифферентизм к религии он зарисовал на многих страницах своих

книг. В «Рассказе неизвестного человека» он говорит о людях, у которых ирония исчерпывает все отношение к религии.

«Орлов и его приятели, — пишет он, — не шутили и не вышучивали, а говорили с иронией. Они говорили, что Бога нет, и со смертью личность исчезает совершенно. Бессмертные существуют только во французской академии. Истинного блага нет и не может быть и т. д.»

В повести «Три года» перед вами интеллигент, наставляющий ребенка священной истории, в сущности, тот же сторонник принципа иронии.

— О потопе? Ладно, будем жарить о потопе! Валяй о потопе. Должен я вам заметить, такого потопа, как здесь описано, на самом деле не было, и никакого Ноя не было. За несколько тысяч лет до Рождества Христова было на земле необыкновенное наводнение и об этом упоминается не в одной еврейской Библии, но и в книгах других древних народов, как-то: греков, халдеев, индусов. Но какое бы ни было наводнение, оно не могло затопить всей земли. Ну, равнины залило, а горы-то, небось, остались! Вы эту книжку читать-то читайте, да не особенно верьте.

Беспощадный наблюдатель, Чехов слишком хорошо видел в русской действительности наличность и тех душ, которые можно уподобить расстроенным шарманкам, безучастно наигрывающим раз навсегда вложенный в них валик. В «Перекати-Поле» болтливый еврей-выкрест звенит перед Чеховым готовыми словами о Боге и Христе, которые он, очевидно, собезьянил у того, кто наставлял его в вере.

— Я, знаете ли, до последнего времени совсем не знал Бога. Я был атеист. Когда лежал в больнице, я вспомнил о религии и начал думать на эту тему. По моему мнению, для мыслящего человека возможна только одна религия, а именно христианская. Если не верить в Христа, то уж больше не во что верить! Не правда ли?

Вы готовы принять эти слова за выражение выстраданного убеждения, но вот прозелит христианства начинает явно попоугайски сыпать книжными истинами.

— Иудаизм отжил свой век и держится еще только благодаря особенностям еврейского племени. Когда цивилизация коснется евреев, то от иудаизма не останется и следа. Вы заметьте, все молодые евреи уже атеисты. Новый Завет есть естественное продолжение Ветхого. Не правда ли?

И, вникая дальше в ремарки автора, вы постигаете, что перед вами просто смятенный человек, старающийся заглушить

беспокойство души и доказать себе, что, «переменив религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного».

А надо всеми этими типами русского равнодушника перед Чеховым явно носился образ холодной, изверившейся и все возненавидевшей души. Он видел такие души среди людей цивилизованных.

— Вы ненавидите верующих, — говорит у него героиня «Жены» своему мужу, — так как вера есть выражение неразвития и невежества, и в то же время ненавидите и неверующих за то, что у них нет веры и идеала. Вы всех ненавидите...

И тем же постылым безверием веяло на него от некоторых темных душ, отколовшихся от народа и не приставших к интеллигенции.

Герой «Рассказа неизвестного человека», интеллигент, проживающий у своего идейного врага под видом лакея, ловит эти черты религиозного холода в молодой, до мозга костей развращенной городом горничной, с которою вместе служит.

«Она так искренно верила, что я не человек, — пишет он, — что, подобно римским матронам, которые не стыдились купаться в присутствии рабов, при мне иногда ходила в одной сорочке.

Однажды за обедом я спросил ее:

— Поля, вы в Бога веруете?

— А то как же?

— Стало быть, вы веруете, — продолжал я, — что будет страшный суд, и что мы дадим ответ Богу за каждый свой дурной поступок?

Она ничего не ответила и сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной природы *не было ни Бога, ни совести, ни законов*, и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, — то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника».

VI

Только один раз Чехов поставил пред собою прямую задачу писательского исследования области религии, — как бы задачу художественной монографии на тему о значении веры для русского простонародного человека и о тех результатах, какими она может сказываться. Итог и на этот раз получился характерный для Чехова, мрачно и почти беспросветно смотрящего собственно на народную жизнь вообще.

Рассказ этот — «Убийство». Он весь улегся в мрачные, почти пугающие тона. Его философия безотраднa, — религия, в том, по крайней мере, повороте, в каком она понята и принята здесь, в семье Тереховых, вносит в народную жизнь не радующий свет, не тихое, умиротворяющее сияние, но темный ужас, трепет карающего Бога, погашение радости жизни и злую, бессмысленную и кровавую смерть.

Весь род зажиточных крестьян Тереховых религиозен. Религиозность и, выражаясь современным языком, богоискательство здесь как бы наследственные, так что в селе им дают даже прозвище Богомоловых. «Они, — пишет Чехов, — были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно». Изменяя своей обычной манере, Чехов на этот раз на минуту отвлекается к их родословной. Один из предков налагал на себя обет молчания, другой едва не погиб из-за своих мечтаний, третий не ходит в православную церковь, а устраивает моления дома, четвертая перебегает к хлыстам.

И те два брата Богомолы, которых Чехов специально берет для рассказа, — такие же люди религиозного беспокойства и пламенения. Матвей страстно любит церковь, красивое пение, сам постоянно заливается на клиросе своим тенорком, услаждается молитвенным пятичасовым утомлением за каким-нибудь «Андреевым стоянием» или «Похвалой». Он любит «людей послушать, об леригии поговорить» и сознается, что «привержен» к ней с малолетства. В юности он растет совсем, как «Гриша» Мельникова-Печерского, горя мечтой святости и подвига.

— Налагал я на себя всякие послушания, вставал по ночам и поклоны бил, камни тяжелые таскал с места на место, на снег выходил босиком, ну, и вериги тоже...

С летами Матвеем овладевает дух сектантской нетерпимости, осуждающей все кругом. Он осуждает священников-табачников, всех односельчан, которые все кажутся ему пьяницами, скоромниками, блудниками и картежниками, и «мечтает в гордыне своей до невероятия». Он устраивает свою моленную с строгим исполнением «устава святой Афонской горы». Здесь всенощная идет у него «часов десять, а когда и двенадцать».

— Монахи по уставу во время кафизм и паремий сидят, а я желал быть угоднее монахов и все, бывало, на ногах. Читал я и пел протяжно, со слезами и со вздыханием, воздевая руки,

и прямо с молитвы, не спавши, на работу, да и работаю все с молитвой.

Терехов скоро не в шутку верит в свою святость. Верят в него и другие, и бабы-мироносицы, по преимуществу из старых девок, начинают поклонение ему, целование рук, — даже готовы видеть на его голове сияние. Религиозные сборища у него кончаются форменным хлыстовством, включительно до свального греха. Лишь позднее Матвей приходит в себя, побеждает свое самомнение и возвращается в господствующую церковь в качестве религиозного, но в практическом подвиге слабаватого прихожанина.

Брат Матвея, богатея Яков, живет тоже своей, самодельной верой. Он чуждается попов, но служит сам, и религиозные понятия его типичны для многих и многих из нашего народа.

— Он читал, — пишет от себя Чехов, — пел, кадил и постился не для того, чтобы получить от Бога какие-либо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера должна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день в известном порядке, чтобы каждое утро и каждый вечер человек обращался к Богу именно с теми словами и мыслями, какие приличны данному дню и часу... Каждый день следует читать и петь то, что угодно Богу, т. е. полагается по уставу: так первую главу от Иоанна нужно читать только в день Пасхи, а от Пасхи до Вознесенья нельзя петь «Достойно есть» и проч<ее>. Сознание этого порядка и его важности доставляло ему во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, его мучила совесть, и он чувствовал себя несчастным.

Такая религиозность не вносит никакого света, никакого благородства в жизнь Тереховых. Яков кулачествует, правдами и неправдами копит казну, и, когда в Страстной понедельник между ним и братом Матвеем разгорается ссора из-за постного масла, — Яков и жена убивают его в расстоянии какого-нибудь получаса от вечерни, какую только что вычитывали и распевали вместе.

Трудно заклеить более беспощадно мертвую обрядовую веру, не радующую, не смягчающую, не облагораживающую людей, чем это сделал Чехов в «Убийстве». Если бы самое убийство не было так мастерски описано в его нелепой случайности и никем не предвидимой внезапности, Чехова почти можно было бы обвинить в тенденциозности, до такой степени мотив убийства, — то, что один человек убил другого за его желание есть постное масло в день, когда по церковному уста-

ву этого не полагается, — до такой степени этот мотив может казался искусственно подобранным, придуманным и как бы рассчитанно-наглядным.

Философия этого рассказа ясна. Лучше никакой веры, чем такое бессмыслие веры, это таскание камней, эти 12-часовые измождения за службой, это дьяволово неистовство с пролитием братней крови из-за постного масла. Чехов поднял здесь руку не на религию и христианство, а только на то сплошное извращение религии и христианства, какое, к сожалению, бесспорнейший факт русской народной жизни. Всегда веривший в русскую талантливость, в русское «нутро», Чехов верно подметил черту русского религиозного порыва, бросающего нашего простеца в штунду и хлыстовство, и оплакал бесплодную его гибель. Посмотрите, как бы сказал он, на что уходит у нас богатейший полет веры, прекраснейшая настроенность сердца, ищущего Бога и святости, готового на все возможные жертвы, вплоть до отречения от всякой земной сладости, до аскетизма и вериг. В другом месте, в других условиях, в настоящем религиозном свете из этого чудесного сплава вышли бы праведники, приближающие царство Божие на земле. Из них могли бы выйти Франциски Ассизские, Юлианы Милостивые, Феодосии Печерские. У нас выходят Яковы Тереховы, судимые по статье о непреднамеренном убийстве и кончающие Сахалином¹⁴.

VII

От сочинений Чехова отвлечемся к его личной жизни. Чехов был не из тех натур, которые охотно раскрываются и изливаются. Глубоким натурам вообще свойственна какая-то повышенная как бы целомудренность чувства веры и чувства любви. В данном случае мы сталкиваемся почти с странностью: может быть, Чехов подпускал в свое святая святых своих родных, но ни от одного из людей в литературе, исключительно близких к Антону Павловичу, я не мог извлечь что-либо значительное, чем можно было бы обогатить исследование об его религиозном мировоззрении. Многие отмечали, как вдруг сознannую странность, что за долгое время общения точно не было с Чеховым никогда разговора на эти темы. Были отдельные штрихи, рисовавшие общую высокохристианскую настроенность Антона Павловича. Одному, напр<имер>, близкому человеку он однажды уронил:

— Надо жить так, как учил Марк Аврелий, — чтобы каждую минуту быть готовым спокойно встретить смерть¹⁵.

Но это общий вывод нравственной философии, который одинаково приняли бы и Конфуций, и Сократ, и М. Аврелий, и Кант, и Спиноза, и Толстой, и, может быть, Вольтер.

— «Если веру судить по делам и настроениям, а не по словам, — пишет мне И. Л. Щеглов-Леонтьев¹⁶, глубокая дружба с которым Антона Павловича засвидетельствована целым рядом интимнейших писем, — то Чехов был в тридцать раз религиознее тех современных “богоискателей”, которые вопиют о своем беспокойстве на всех путях и перепутьях.

Когда заговаривают о религиозности Чехова, мне каждый раз вспоминаются слова Гете о Спинозе. Противники часто упрекали его в том, будто у него нет никакой веры. Но он просто не разделял их веры, потому что она для него была недостаточна. Если б он изъяснил свою, то они изумились бы, но не были бы способны понять ее.

Для Чехова, если *тщательнее проверить* его жизнь, *искусство было религией*, да и вся жизнь его была по отношению к людям *истинно религиозная*, хотя слов на ветер о религии он никогда не бросал. Главный *ключ* ко всему в редкой *правдивости* Чехова. Я не знаю другого писателя, который бы был так близок к правде и ненавидел малейшего оттенка лжи. Если ему нравилось в молодости то, что осуждается кодексом нравственности, он не прятался за обычные фразы и прямо говорил, что это ему нравится.

Если он чего не понимал, он прямо говорил, что не понимает, и не пускался в праздные разглагольствования. Если он говорил своему брату, что он видел “черного монаха”, то и это была *настоящая правда*.

Действительно, Чехов мало распространялся о религии, и отсюда недоумение людей, привыкших легко говорить о том, чего сами нисколько не чувствуют. Но я знаю, что, лишь немного поправившись в Московской клинике, он почти каждый день ходил к обедне в Новодевичий, и, если бы вы слышали, с какой тихой умиленностью, вскользь и полусмущенно, говорил он мне об обедне в темном полупустом храме Новодевичьего монастыря; с какой трогательной аккуратностью навещал он могилу Плещеева, с какой любовной заботливостью украшал деревенскую церковь в своем Мелихове, как неустанно хлопотал о больных и бедных и т. д., и т. д. И это ли еще не религиозность человеческая?!

Но я никогда не кончу, заговорив о Чехове: вспоминаешь и то и это, и чем более отдаляешься и вспоминаешь, тем большим благоговением проникаешься к этому чудесному человеку. Как я счастлив, что был его современником, и как горжусь, что был его приятелем!»

Меня много раз занимала мысль о духовном хозяйстве Чехова, — пишет в своих воспоминаниях известный беллетрист Петр Алексеевич Сергеенко, товарищ Чехова еще по таганрогской гимназии, друг его от дней молодости до смерти¹⁷. — Как и что у него там делается? Я обожал его писательский талант, но мне всегда казалось, что для полного развития его необыкновенного дарования не хватало того духовного рычага, упирая на который сдвигают не только горы с места, но и предрассудки человеческие. *Но мне никогда не приходилось при разговорах с Чеховым спускаться по этим вопросам с ним до дна. У Чехова не было тяготения к беседам об отвлеченных вопросах. В очерках его кое-где вспыхивают искры религиозного искания, но сейчас же и меркнут, как разноцветные бенгальские огни на темном фоне ночи.*

Из всех многочисленных разговоров со своим школьным товарищем и другом Сергеенко запомнил только два относящихся сюда, хотя тоже не очень выразительных разговора.

Один раз говорили об одном молодом писателе. Чехов находил, что писать ему надо, но, к сожалению, у него «нет стержня».

— У него прежде всего нет Бога, — сказал Сергеенко.

Чехов поморщился.

— У него нет стержня, — поправил он. — Понимаешь, *своего стержня*, — повторил он, как будто досадуя, что я не понимаю такой простой вещи, как стержень и вместо ясного и определенно понятого подсказываю что-то другое.

Второй разговор относится к осени 1900 г., в Крыму, когда только что умер любимый Чеховым за его талант и сроднившийся с ним за многие годы дружбы Левитан.

— Бедный Левитан, — сказал Чехов. — Даром пропал человек!

«Я, чтоб сказать что-нибудь, — рассказывает Сергеенко, — спросил: почему же пропал?»

— Он мог бы еще долго жить.

Сергеенко, автор пьесы о «Сократе», тогда только что законченной, вставил:

— Сократ говорит, что следует заботиться не о том, чтобы жить во что бы то ни стало, а только о том, чтобы жить хоро-

шо. Левитан жил не плохо и сделал, что мог... Быть может, болезнью его, т.е. мысль о приближении конца и способствовала накоплению в нем той духовной квинтэссенции, которую он внес в свои произведения и сделал их бессмертными.

— Левитан боялся смерти и не хотел умирать, — проговорил Чехов с оттенком суровости в голосе.

— Боялся, быть может, пока перед ним не сползла завеса.

Чехов сделал нетерпеливое движение и прервал меня.

— Он ни во что *это* не верил, в *тамошнее*. Да и что *там*? Ничего там нет, — сказал он с поразившей меня горячностью. Но сейчас же спохватился и затормозил себя, и вяло заговорил о чем-то незначительном. Вопрос о вере, таким образом, был снят с очереди.

«Но, — заканчивает Сергеенко, — в последнее время в выражении глаз его и в отдельных его мимолетных замечаниях иногда мелькали отблески каких-то новых огней, и над ним в такие минуты струились флюиды чего-то надземного. Особенно это кажется теперь, когда перечитываешь некоторые письма и вспоминаешь его».

Возвращаясь к той же теме в частном письме ко мне, Сергеенко пишет:

«В том смысле, как принято понимать религию, Чехов был *вне религии*. Но как я понимаю ее теперь, т. е. как известное состояние, ближайшее к Богу, как стояние в своего рода духовном перигелии, в ближайшей точке к солнцу, Чехов был религиознее тех, кто иногда признается столпами господствующей религии».

От Григория Петрова¹⁸, которому Чехов дарил свои симпатии и который имел близкое общение с писателем очень незадолго до смерти Чехова, я слышал заявление об одной характерной для А. П. черте.

— Мне казалось, — говорил Петров, — что Чехов в это последнее время как бы хотел заговорить со мною о чем-то. Во мне сохранилось неустрашимое впечатление, что он хотел побудить себя на какую-то откровенную, интимную и мучительно ему тогда нужную беседу. Иногда, когда я собирался уходить, он останавливал меня и просил еще остаться с видом человека, который несомненно «имеет дело», хочет что-то сказать. Почему-то во мне осталось убеждение, что он хотел говорить о вере, о религии, — может быть, спросить меня о том, как я верую и при своей изумительной деликатности и чуткости боялся нескромности. Я, с своей стороны, не решался вызывать его на откровенность в этом отношении.

Но Петров оговаривает это свое впечатление. «Ничто, — пишет он мне, — не дает мне основания ставить те штрихи, о которых я говорил вам, очень уж высоко. Это если и религиозные мотивы, то низшего качества, так сказать, кладбищенские, навеянные страхом смерти. В этом смысле Чехов в моей памяти остался вторым в жизни человеком по счету».

«Письмо ваше застало меня далеким от темы, — пишет мне близкий покойному беллетрист Грузинский¹⁹, — и хотя мне очень жаль, но ничего ценного я вам сообщить не могу. Пожалуй, сейчас единственное, но безошибочное мое воспоминание: никогда *за всю жизнь* я не слышал от Чехова *ни одного кощунственного слова*, которое другие писатели рассыпают походя. Может быть, это случайность? Не знаю. Помню его фразу: “Церковь в деревне — это единственное место, где мужик, не говоря о прочем, получает хоть какие-нибудь эстетические впечатления”. На первой неделе Великого поста, в 1887 или 1888 году, он соблазнил меня ехать с ним в храм Спасителя к какой-то вечерней службе (“там сегодня чудесное пение”) и, как мне показалось, был огорчен, когда, подъехав к храму Спасителя, мы нашли двери его запертыми. Мы опоздали. Только ли пение влекло его туда? Ничего не могу ответить на это».

Так эта сторона исследования приводит только к отрицательной мысли, — к мысли о невозможности найти что-либо на нашу тему в показаниях лиц, знавших Чехова.

VIII

Во всей биографии Чехова, правда, пока еще плохо представленной, при всем желании, не найти ни одного факта, который бы бросал луч света на эту сторону. Разумеется, я не говорю об его общем христианственном, высокогуманном настроении. Разумеется, здесь не нужно напоминать об его чуткости к человеческому горю, об его деятельности как благотворителя или безмездного врача. Я говорю о чисто религиозном проявлении человека.

Есть одна легенда, которой можно было бы вовсе не касаться, если бы она уже не была предана гласности и в совсем неправильном освещении.

Рассказывают, что однажды, в приезд Чехова из Москвы в С.-Петербург, он и двое его товарищей по литературе, ныне здравствующих беллетриста, засиделись с ним в ресторане за дружескою беседою и бутылкою вина. Уже кончалась ночь,

был пятый час утра, — как раз это был канун Крещения, и, когда они вышли из дверей ресторана на улицу, где уже светлело, раздался первый удар колокола, звонившего к утрени, у Исаакия.

— В такое утро и после такой ночи хорошо пойти в церковь, — будто бы сказал Чехов, — поспеть к самому началу утрени, постоять рядом с ветхими-ветхими старухами, и проехать в Исаакиевский собор.

Это будто бы и было сделано.

Товарищами Чехова в этом случае были Василий Немирович-Данченко и Владимир Тихонов²⁰. К сожалению, их рассказ разрушает эту красивую легенду, быть может, навеянную чудесным лесковским рассказом «Чертогон», о купце, сразу после чудовищного кутежа едущем в монастырь, в «благодушный сумрак» храма, чтобы там умилиться и омыть грязную душу молитвой перед образом «Всепетой». Поэтическая легенда — увы! — превращается всего лишь в житейски-прозаический факт.

Легенда соответствует действительности только до момента выхода Чехова со спутниками из ресторана. Слыша колокольный звон, кто-то, действительно, предложил пойти к заутрене. Решили поехать к Исаакию и поехали втроем на одном извозчике. Через несколько минут стояния в соборе Чехов и Тихонов заметили, что Немировича с ними уже нет. Он жил по соседству и ушел домой. Тогда Тихонов стал доказывать, что лучше проехать в Смольный собор, посмотреть «красоту расстреллиевского стиля». Чехов согласился и только дорогой понял действительное желание Тихонова, — залучить его к себе пить чай, на Шпалерную. Этим и кончилось, в собор не пошли, да и служба уже кончалась.

Отзвук этого утреннего странствования сохранился в одном из писем Чехова к Тихонову, и иронический тон этих строк подтверждает правильность освещения всего случая.

«Я частенько вспоминаю о вас, — пишет Чехов, — вспоминаю, как мы вместе служили в одной дивизии (одна из обычных чеховских шуток), как в ночь под Крещение мы вместе бродили по Петербургу, и потом на другой день В. И. Немирович рассказывал, будто вы в Исаакиевском соборе, стоя на коленях, били себя по груди и восклицали: “Господи, прости меня, грешного”. Помните вы эту ночь? (это было в 1892 г.). Это было под 6 января, сегодня годовщина, и я спешу поздравить вас и выразить искреннее сожаление, что я не с вами, и что мы не можем опять побродить до утра, как тогда»²¹.

От забавного несколько резкий переход к трагическому. Со всеми выводами, какие можно сделать из сказанного раньше, не стоит в малейшем противоречии и то, что могла бы нам сказать смерть Чехова. Он умирает спокойно, как стоик, как ученый доктор, знающий, что жить нельзя, когда уничтожены легкие, и что пустое сердце не оживит никакой лед.

— На пустое сердце льда не кладут, — сказал он, едва улыбнувшись своей жене, когда она клала ему на грудь мешок со льдом в ночь рокового кануна²².

Напрасно тот, кому бы хотелось прочесть что-нибудь по описанию его последних минут, всматривался бы в них. Эти минуты записаны опытной литературной рукой покойного Иоллоса²³.

— Знал ли он раньше, что умирает, — читаете вы здесь, — и да и нет. Когда теперь вспоминают о некоторых его выражениях, кратких и как будто брошенных случайно (ему вообще в последнее время запрещали долго говорить), возникает предположение, что мысль о близости смерти у него явилась раньше, чем у окружающих: за несколько дней перед кончиной, когда он послал мне в Берлин чек для получения денег у Мендельсона, А. П. распорядился, чтобы деньги были адресованы на имя его супруги, и когда Ольга Леонардовна спросила его, почему это, он ответил: «Да знаешь, на всякий случай»... Последние его слова были: «Умираю», и потом еще тише, по-немецки, к доктору: «Ich sterbe»... Пульс становился все тише... Умиравший сидел в постели, согнувшись; подпертый подушками, склонился на бок, — и без вдоха, без видимого внешнего знака, жизнь остановилась. Необыкновенно довольное, почти счастливое выражение появилось на сразу помолодевшем лице. Сквозь широко раскрытое окно веяло свежестью и запахом сена, над лесом показывалась заря. Кругом ни звука, — маленький курорт спал; врач ушел, в доме стояла мертвая тишина; только пение птиц доносилось в комнату, где, сдвинувшись на бок, отдыхал от трудов замечательный человек и работник, склонившись на плечо женщины, которая покрывала его слезами и поцелуями²⁴.

Вот все. Если не загадочная, то, по меньшей мере, ничего не говорящая картина. Холодное ожидание, холодная рассудочная распорядительность о близких и любимых. Ни выкрика страдания, ни умиления, ни страха, ни особенных даже выражений жалости к так любимой, милой, теплой земле с «клейкими листочками» молодых деревьев, которые так умиляли и так привязывали к земле Ивана Карамазова, — и всего меньше

какой-нибудь растерянности, слабости воли, чего-нибудь похожего на мистический порыв...

В этом тихом, немом, молчаливом умирании почти не прочесть даже настроения Ярцева из «Трех годов», какое я отмечал выше.

— А не хочется умирать. Никакая философия не может примирить меня со смертью. Я химик. Мыслю химически и умру химиком.

IX

Такова одна сторона медали. Ничто здесь не противоречит образу того Чехова, который писал о себе как о неверующем, хотя и был христианином-гуманистом в душе. Но есть другая сторона, где Чехов упорно кажется, подобно Лермонтову, зашедшим в церковь или тем неверующим из его рассказа, который первый бежит к Христовой заутрене²⁵.

Как характерно, например, что почти никто другой из писателей не говорит так часто и так серьезно о молящемся человеке, как он. Характерна повторяемость этого подмечания относительно людей духовного мира.

Молится у него архиерей, молится о. Христофор в «Степи». Из его биографии известно, что сам он, несмотря на тяжелые воспоминания режима детства, был большим любителем богослужения и необыкновенно любил «потолкаться» среди богомольствующаго народа.

Исключительно он умел проникаться очарованием христианского праздника.

— Есть праздники, — говорит у него героиня одного из довольно ранних рассказов, — Иловальская²⁶ в «На пути», — которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным. Даже неверующие любят эти праздники. Мой брат, например, толкует, что Бога нет, а на Пасху первый бежит к заутрене.

— Толкуют, что Бога нет, — продолжает она, — но почему же, скажите мне, все знаменитые писатели, ученые, вообще умные люди под конец жизни веруют?

— Кто, сударыня, в молодости не умел верить, — отвечает ей другой персонаж, — тот не уверует и в старости, будь он хоть распереписатель.

В таких рассказах, как «Святою ночью» или «Перекаати-Поле», Чехов обнаруживает великолепное знание церковной

службы, чувствует прелесть старинного церковного оборота в каком-нибудь акафисте. Во всей нашей литературе трудно найти другой рассказ, равный по изумительной религиозно-поэтической нежности, по какому-то, я бы сказал святому, — чувству к пасхальному дню, как «Святою ночью», где монах, перевозящий автора на пароме, в пасхальную ночь скорбно вспоминает своего только что умершего друга, брата Николая, поэта в душе, составителя чудных акафистов, «пересыпанных цветами, звездами и лучами солнца».

— Древо светлоплодовитое... древо благосеннолиственное!.. Найдет же такие слова! Даст же Господь такую способность!.. Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтобы каждая строчечка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого!..

Наше богослужение, в частности, — пасхальный канон, он описывает здесь и в других местах с изумительной красотой. Ему знакомо умиление молитвы, и он чудесно передает его в «Архиерее».

— Слезы потекли до лицу архиерея. На душе было покойно. Все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где в вечерней мгле нельзя уже было узнать ни одного человека, и плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем...

Вспомните цитированную мною выше («Погасшие замыслы Чехова», с. 105) выписку из «Драмы на охоте», о том настроении, какое Чехов испытывал в сельской церкви²⁷.

В сухоописательном, почти статистическом «Сахалине» он вырывает момент венчания каторжника и отмечает умиление и радость женщин при возложении священником венцов на головы каторжных жениха и невесты.

— Когда же после венчания церковь опустела и запахло гарью от свечей, которые спешил тушить сторож, то стало грустно, — заканчивает он, на минуту срываясь со своего «ученого» тона и становясь знакомым нам художником Чеховым.

Как может быть только с верующим, одинокая могила вызвала в Чехове целый ряд поэтических настроений, прямо недопустимых в нерелигиозной душе.

— В одинокой могиле в степи, — читаете вы, — есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое. Слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется при-

существование души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней, и кажется, что кузнецы кричат сдержанней. И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался бы на могилу до тех пор, пока она останется далеко позади и не покроется мглой²⁸.

— Здесь нет жизни, — написал он в другом месте о кладбище, — нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь — тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощением, печалью и покоем²⁹.

Чехов алкал веры сердцем, осуждая ее рассудком, и завидовал верующим. В «Палате № 6» перед вами один из таких «верующих». Правда, эта вера вложена в уста безумца, сидящего в сумасшедшем доме, но надо не забывать, что такое возвышенное безумие в глазах Чехова было выше прозаической расщелинности.

— Какая бы великолепная заря ни освещала нашу жизнь, — говорит доктор больному мечтателю, — все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, *что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.*

— Хорошо сказано. Это хорошо, что вы веруете. *С такой верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене.*

Х

Отзвуком размышлений Чехова на темы бессмертия, ответом его дум над евангельскими утверждениями об «обителях многих» в доме Отца³⁰, является страничка из «Черного монаха». Характерно, что и здесь мечта бессмертия опять излагается не от лица человека, мыслящего холодным и спокойным общим мышлением. Здесь мотивировку бессмертия дает призрак черного монаха, являющийся переутомленному доценту в галлюцинации, — другими словами, опять это мечта благородного безумия.

Черный монах называет Коврина избранником Божиим, служащим вечной правде.

— Ты сказал — вечной правде, — переспрашивает магистр, — но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?

— Вечная жизнь есть, — сказал монах.

— Ты веришь в бессмертие людей?

— Да, конечно, вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Вы на несколько лет раньше введете человечество в царство вечной правды, и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение Божие, которое почilo на людях.

— А какая цель вечной жизни? — спросил Коврин.

— Как и всякой жизни — наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: «в дому Отца моего обители многи суть».

Но какая вещь является в своем роде классической в смысле показания того противоборства, какое в душе Чехова вели рас судок и сердце, является его рассказ «Студент».

Вы вспомните эту удивительную миниатюру исключительного настроения, даже среди вещей Чехова. Под вечер холодного дня Великой Пятницы молодой студент духовной академии проходит огородами мимо костра и рассказывает двум женщинам прямо по Евангелию историю отречения Петра и взятия Спасителя. Старые женщины плачут, и сам студент чувствует себя умиленным в сумерках дня великих воспоминаний. Точно какой толчок заставляет его мистически задуматься над тем, как «все происходившее в ту страшную ночь с Петром, очевидно, имеет какое-то отношение к этой плачущей старухе».

«Если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обоим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вы-

текавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

И, уходя, он думает о том, что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжают непрерывно до сего дня и всегда составляют главное в человеческой жизни и вообще на земле». И жизнь кажется ему «восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».

Знаменательно прибавить, что, по отзыву одного из друзей Чехова, «Студент» был одним из любимейших его рассказов³¹.

XI

Область веры есть область загадок и тайн, противоречий и противочувствий. Здесь не может быть тех определенных рамок, точных выводов и неизбежно осуществляющихся предсказаний, какие возможны в статистике или медицине. Капризы души, противоборство холодного ума чувству, воспитанному от дней детства в обстановке веры, полюбившему заунывную красоту церковной песни, связавшему незабываемые детские воспоминания с клубами кадыльного дыма, колышающегося по маленькой провинциальной церкви, — эти капризы выступают здесь, как нигде. Великие умы здесь становятся непоследовательны и нелогичны.

Кант, знаменитый Кант, прозванный немцами всесокрушающим и подвергший критике систему доказательств бытия Божия, в беседе с посетившим его нашим Карамзиным явно выражал свое верование о вступлении в «другую, лучшую жизнь».

— Вероятность не есть очевидность, когда мы говорим о будущей жизни, но, сообразив все, рассудок велит нам верить ей («Письма русского путешественника»).

Кто бы мог подумать, что следующие слова написал не кто иной, как Лев Толстой. Толстой, не щадивший самых жестких слов на разрушение идеи православия.

«— Я недавно приехал к брату, — писал он однажды Фету, — а у него умер ребенок и хоронят. Пришли попы, и розовый гробик, и все, что следует. Мы с братом, так же, как и вы, смотрели на религиозные обряды и, сойдясь вместе, невольно выразили друг другу почти отвращение к обрядности. А потом я подумал:

ну, а что бы брат сделал, чтобы вынести, наконец, из дома разлагающееся тело ребенка? Как его вынести? В мешке кучеру вынести? И куда деть, как закопать? Как вообще прилично кончить дело? Лучше нельзя, — я, по крайней мере, не придумаю, как с панихидой, ладаном и т. д. Как самому слабеть и умирать?.. Нехорошо. Хочется вполне выразить значительность и важность, торжественность и религиозный ужас перед этим величайшим в жизни каждого человека событием. И я тоже ничего не могу придумать более приличного, и приличного для всех возрастов, всех степеней развития, как обстановка религиозная. Для меня, по крайней мере, эти славянские слова отзываются совершенно тем самым метафизическим восторгом, какой ощущаешь, когда задумаешься о Нирване. Религия, — кончает он, — уже тем удивительна, что она столько веков, стольким миллионам людей оказывала ту услугу — наибольшую услугу, какую может в этом деле оказать что-либо человеческое.

С такой задачей как же ей быть логической? Но что-то в ней есть. Только вам я позволяю себе писать такие письма»³².

Какой ортодоксал мог бы дать лучшее философское обоснование православного похоронного обряда, а ведь это буквальные слова отлученного Толстого! Правда, они написаны им за четыре года до того момента, который обычно принято считать кризисом в его духовной жизни. Однако, конечно, и за четыре года уже напряженно работала в этом направлении его мысль, и известно, что в это время он отнюдь не был ортодоксалом, и первое его движение и здесь — оттолкнуться от обрядности, осудить ее.

Вспомните другой пример из того же Толстого, — другое письмо его, цитированное мною в этой книге раньше (письмо к Лескову, см. с. 25)³³ и относящееся уже к 1894 г., к поре полной установки его религиозных взглядов, в каких он пребывает и поныне, посмотрите, какая это «странная для Толстого» вера. Отрицающий личное, индивидуальное бессмертие, он здесь не только верит в бессмертие духа, но и признает какую-то таинственную возможность личных посмертных общений со своим собратом по перу.

— «Не увидимся здесь, увидимся — не увидимся, а сообщится — там, т. е. не там, а вне земной жизни».

Я позволил себе эти небольшие отступления в область характерного примера, чтобы подкрепить свою мысль о невозможности уследить точно, математически, по градусам, степень человеческой религиозной убежденности, неверия или сомнения. Доктор может ставить точнейший диагноз чахоточно-

го, потому что при больном всегда его больные бронхи и пораженные легкие. Юрист может устанавливать злостное или несчастное банкротство, потому что перед ним точные книги и осязаемые факты. Как для психиатра иногда неуловима грань нормального и больного мозга, так для психолога загадочна и таинственна человеческая душа, когда она подвергается обследованию со стороны веры. История знает, что в мировых столпах веры религиозная убежденность вела вечную и трагическую борьбу с сомнением, что спокойное и кротко поверившее сердце иногда становилось сердцем, переполненным лавой, и это случалось тогда, когда речь шла не о частностях веры, а о таком огромном, основном, первом вопросе, как хотя бы вопрос, есть ли Бог и бессмертие.

ХП

Величайший русский мыслитель и богослов Достоевский превосходно подчеркнул в одном месте ту черту осторожности, с какою человек, отдающий себе строгий отчет в своей душевной жизни, может говорить о степени своей веры, и вместе отметил, что главнейшее и самое ценное в религиозной жизни — это пламенность души, неугомонность искания, отсутствие в ней постылой теплохладности. Существует одна глава из «Бесов», которую при печатании романа Достоевский, по каким-то авторским побуждениям, выбросил вон. Не так давно она появилась в печати, прошла странно незамеченною и по сей час немногим известна³⁴. Это именно и есть то место, о котором я говорю.

Герою «Бесов» Николаю Всеволодовичу Ставрогину перед одним из его решительных революционных шагов приходит в голову причудливое желание пойти побеседовать с живущим в монастыре, на покое, старым архиереем, слывающим за великого христианина и сердцеведа и постоянно посещаемым приезжающими к нему — и «знатнейшими особами», и «самым простым народом». Излишне говорить, что Достоевскому были издавна дороги два имени — имя Тихона Задонского и Амвросия Оптинского, и здесь этот прототип будущего Зосимы из «Карамазовых», где слились в один образ оба старца, — фигурирует под незамаскированным именем Тихона.

После некоторого вступительного разговора, порывистого, разбросанного, мало располагающего гостя к симпатиям к старцу, в котором он чувствует нечто от юродства, Ставрогин вдруг,

некстати, нервно и надрывно, как всегда у Достоевского, вдруг бросает старому архиерею вопрос:

— В Бога веруете?

— Верую, — спокойно отвечает архиерей.

— Ведь сказано, если веруешь, и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется... впрочем, вздор. Однако я все-таки хочу полюбопытствовать: сдвинете вы гору или нет?..

— Бог повелит — и сдвину, — тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза.

— Ну, это все равно, что Сам Бог сдвинет. Нет, *вы*, — вы, в награду за веру в Бога!

— Может быть, и *не* сдвину.

— «Может быть». Это недурно. Почему же сомневаетесь?

— *Не совершенно верую.*

— Как? Вы несовершенно? Не вполне?

— Да... может быть, и не в совершенстве.

— Ну, по крайней мере, все-таки веруете, что хоть с Божиею-то помощью сдвинете, и это ведь не мало! Вы, конечно, и христианин?

— Креста твоего, Господи, да не постыжуся, — почти прошептал Тихон каким-то страстным шепотом и склоняя еще более голову. Уголки губ его вдруг задвигались нервно и быстро.

— А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в Бога? — засмеялся Ставрогин.

— О, очень можно, сплошь и рядом, — поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся.

— И уверен, что такую веру вы находите все-таки почтеннее, чем полное безверие... О поп! — захохотал Ставрогин.

Тихон опять улыбнулся ему.

— Напротив, *полный атеизм почтеннее светского равнодушия*, — прибавил он *весело* и простодушно.

— Ого, вот вы как!

— *Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры* (там перешагнет ли ее, нет ли), *а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха.*

— Однако вы... вы читали Апокалипсис?

— Читал.

— Помните ли вы: «Ангелу Лаодикийской Церкви напиши»...

— Помню. Прелестные слова.

— Прелестные! Странное выражение для архиерея, и вообще вы чудак... Где у вас книга? — как-то странно заторопился и затревожился Ставрогин, ища глазами на столе книгу. — Мне хочется вам прочесть... Русский перевод есть.

— Я знаю, знаю место, я помню очень, — проговорил Тихон.

— Помните наизусть? Прочтите!..

Он быстро опустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать. Тихон прочел, припоминая слово в слово:

«И Ангелу Лаодикийской Церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия; знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».

Истинный эксперт веры, Достоевский хорошо наметил здесь три разновидности религиозного настроения: совершенное неверие, но ищущее и волнующее человека, от которого уже один шаг к совершенной вере; равнодушие и теплохладность, которой в лучшем случае доступен испуг Бога, и подлинную веру, которая, однако, настолько не свободна в человеке от колебаний, что даже архиерей и праведник не может сказать о себе, что он совершенно верует.

XIII

Мы приблизились к концу. Мы пересмотрели все или почти все, что можно найти на нашу тему в сочинениях и биографическом материале Чехова. Может быть, кто-нибудь прибавит сюда еще пропущенную нечаянно страницу, одно-другое личное воспоминание. Но главное уже сказано все. Перед нами шуйца и десница Чехова³⁵ и, однако, решительный вывод кажется таким же далеким, каким был вначале.

Бесспорны, правда, некоторые основные положения. Чехов не был человеком, судорожно мучимым идеею Бога. Он не мог бы сказать о себе, что сказал о себе Достоевский словами Кириллова из «Бесов»: *Меня Бог всю жизнь мучил*. Температура веры, если можно так выразиться, не была в Чехове настолько высока, чтобы религиозность его прорывалась, помимо его воли, обвевала зноем приближавшихся к нему.

Но он не был и индифферентом веры, ни, того менее, верующим «на всякий случай». Кажется, он с полным правом мог бы применить к себе слова Версилова из «Подростка»:

«Положим, я не очень веровал, но все же я не мог не тосковать по идее. Я не мог представить себе временами, как будет жить человек без Бога и возможно ли это когда-нибудь».

Чего не было никогда в Чехове — это постылого равнодушия, той теплохладности, за которую Агнец Апокалипсиса угрожает извержением из уст Своих. Страстная жажда Бога и веры жила в нем, заставляла его думать о Боге, Христе и бессмертии и оставлять следы этих дум в книгах, — жила настолько, что, когда он собственными устами говорит нам о своем неверии, о своей утрате веры, о своем удивлении на интеллигента, сохранившего веру, — нам, взвешивающим все, что мы о нем знаем, почти хочется сказать: *позвольте вам не поверить.*

Разве не мечту христианства выражает он в «Рассказе неизвестного человека».

«Мне страстно хочется, чтобы жизнь наша была свята, высока и торжественна, как свод небесный».

Разве не христианская трактовка зла дана им в этих выдержках из двух поздних рассказов «В овраге» и «По делам службы».

«Как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет с ночью». В жизни, даже в пустынной глуши ничто не случайно, все полно одной общей мысли, все имеет одну душу, одну цель.

«Есть люди безмятежно-ясной, непоколебимо-твердой, почти детской веры, — пишет г-н Волжский в своем исследовании о религии Достоевского. — Религиозные догматы для них не заключают в себе никаких тревожных исканий или мучительных болей. В их вере нет места вопросам и сомнениям, они не испытывают трепетного беспокойства, не нуждаются в излишних самоуверениях. Они веруют спокойно и невозмутимо, обладают своей религиозной святыей, как прирожденные собственники, не ищут ее, не стараются уверовать, не спрашивают себя и других о ней в долгих интимных беседах, не испытуют своей веры. Эти знают блаженство истинной веры. Им остается разве только еще учить других, открывать другим источник собственного блаженства в невозмутимо-ясном сознании правоты своей веры. С такой верой жил и работал Вл. С. Соловьев. В конце XIX века, на высоте современного образования, с огромным и сильным умом, оригинальный философ и талантливый лирик, он смотрел на жизнь безоблачно

ясным взором библейского мудреца. Эпически-спокойный в своем обладании истиной, блаженный своей верой, счастливый и порою даже веселый, он сохранял всюду в своих произведениях удивительную ясность души, в наше время редкую. Он как бы совершенно не знал мучительного томления исканий... Он нашел, что ему надо, наивно был уверен, что нашел именно то, что надо, и что найденного никогда не потеряет. От удивительного душевного склада этого писателя веяло нездешним, несовременным, библейским благообразием и эпическим спокойствием, которых не знает наше время.

Как полную противоположность возьмите искание Белинского. «Его мучили сомнения, — писал о нем Тургенев, — именно мучили, лишали его сна, пищи, неотступно грызли, жгли его. Он не позволял себе забыться и не знал усталости, он денно и ночью бился над разрешением вопросов, которые задавал себе... Я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписания врача, но с Белинским сладить было нелегко. “Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть”».

Белинский кончил отрицанием, но вот, пример той же религиозной муки, приведшей к высокой религиозности в Достоевском.

Достоевский был настолько же неровен, своенравен, капризен, то озлобленно-раздражен, то страстно-восторжен, насколько Соловьев уравновешен. Достоевский всегда жил в тревожном беспокойстве, вечно болел своими мыслями, вечно спешил, говорил беспорядочно и никогда не договаривал до конца, много раз принимался за одно и то же, постоянно обещал еще что-то выяснить, досказать самое важное, последнее, решающее, постоянно повторялся и в то же время постоянно был в долгу, жаждал откровений, вещей слов, и тосковал, не находя их... Они шли по одной дороге, но там, где Соловьев шел твердым, размеренным шагом человека, хорошо знающего дорогу, невозмутимо-ясно смотря прямо перед собой, Достоевский стремительно бежал беспокойно-спешащей, нервной, торопливой походкой человека, который боится, остановившись, потерять равновесие... В записной книжке, по поводу упреков в наивности веры, Достоевский пишет: «Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла».

Прошла, и, однако, обычное противоборство веры и неверия было ведомо ему почти накануне смерти. В одном письме от 1880 г. он пишет: «Что вы пишете об вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у вас. *Вот и поэтому вы мне родная, потому что раздвоение в вас точь-в-точь, как во мне, и всю жизнь во мне было.* Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение» (Волжский)³⁶.

XIV

Всю свою жизнь Чехов был бесспорной жертвой такого раздвоения. Как у евангельского Нафанаила, у него были мгновения и часы священных раздумий под смоковницей³⁷. Но в эти мгновения он никого не подпускал к себе, вообще не считал веру предметом салонных или ресторанных разговоров, и, если бы он жил сейчас, мы, конечно, не увидели бы его в рядах тех, кто жонглирует словами «Бог» и «бессмертие», «Христос» и «антихрист», как фокусники мячиками.

Трезвая мысль водила им настолько властно, что мечту бессмертия он мог вложить только в уста благородных безумцев, но видно, что это благородное безумие он ставил бесконечно выше нашего трезвого рассудка, нашего земного, «эвклидовского ума».

Как во всей жизни он мечтал о несравненном изяществе, о чудесной красоте, так из своей мечтаемой религии он изгонял все грубое, эгоистичное, изгонял Бога, запугивающего людей, изгонял ханжество, сентиментализм, щегольство «богоискательства», пышные, лощеные слова о вере, вспыхивающие, как ракеты, — всякую вообще «фразу» в деле веры.

Он думал о вере и чувствовал, что толстовское понимание Евангелия ему ближе всего. Из Нафанаилов часто выходят Никодимы, приходящие ко Христу ночью³⁸. Такой поворот как бы намечался в Чехове последних лет, но положительно говорить об этом нет достаточных оснований. Одно правдоподобно, что, если бы его интимно и глубоко серьезно спросили, зачем же он так часто поминает Христа и так принимает все Его нравственное учение, не принимая Его Самого³⁹, — он ответил бы так же, как зоолог фон Корен:

— Нет, я верую, только не по-вашему, а по-своему.

Так прошел свою жизнь по земле этот человек, соединяя с страстной тоской по вере, с которой «можно жить припеваючи и замуравленным в стене», с мучительной жаждой бессмертия, холодный подсказ ума, что мечтать бесплодно, что ночь ничуть не страшные дня, что небеса пусты, что из умершего человека вырастет только лопух⁴⁰.

Поэтически-нежно, почти до невидимых слез, он мог умилиться страницей Евангелия, но холодный рассудок медика говорил ему, что чудес не бывает. В этом вечном противоборстве ума и чувства он был плотью от плоти своего поколения, переплетшего веру с неверием, но так мечтающего о чуде, как не мечтают иные верующие.

